

В.В. Розанов

Почему мы отказываемся от "наследства 60—70-х годов"?

*По изданию: **Собрание сочинений. Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского. Литературные очерки. Том 7. Москва, 1996 г.***

Впервые опубликовано в газете «Московские Ведомости» №185, 1891 г. под названием «Почему мы отказываемся от наследства?».

I

Факт, что дети, возвращенные "людьми шестидесятых годов", отказываются от наследства своих отцов, от солидарности с ними и идут искать каких-то новых путей жизни, другой "правды", нежели та, к которой их приучали так долго и так, по-видимому, успешно, есть факт одинаково для всех поразительный, вносящий много боли в нашу внутреннюю жизнь и, без сомнения, одною силою своею, своим значением имеющий определить характер по крайней мере ближайшего будущего. Между вопросами, занимающими теперь общество, многие более неотложны, более нетерпеливо ждут и нуждаются в разрешении; но нет между ними ни одного столь общего и столь нуждающегося в целом освещении его причин и смысла.

Прежде всего о внутренней боли, которая чувствуется в этом вторичном разладе между отцами и детьми. Нужно вспомнить то одушевление, ту полную веру людей шестидесятых и семидесятых годов в себя, в свои принципы, в свое близкое и вековечное торжество, чтобы понять всю горечь их разочарования при виде того, как, не говоря уже о дальних поколениях, их же собственные дети, возвращенные в наилучшем ознакомлении с этими принципами, совершенно отвращаются от них — и с ними от самих людей, седины и труд которых они были бы готовы почитать, если бы только не эти принципы. И далее, чтобы понять жгучесть этой боли и чувство ужасного стыда в ней содержащегося, нужно вспомнить, как проводили люди шестидесятых годов своих отцов — эту светлую плеяду людей сороковых и пятидесятых годов, первых славянофилов и столь же благородных и идеальных первых западников. О, это было время, которое дважды не переживается обществом, и хотя оно теперь только прах истории, но и до сих пор бьется серд-

це, как за живых людей, за этих отшедших в вечность стариков, при чтении журналов того времени. Поистине "дети", провожавшие тогда в землю отцов своих, как будто себя самих уже считали бессмертными. Среди многих искусственных идей того времени, искусственных понятий о человеке и об обществе, как будто заглохла и эта вечная мысль о смертном часе, который настает для всего живого.

И грозный час пришел...

В то время как люди еще боролись бессильной иронией своих слов, история уже готовила для них злую иронию фактов. Не успели смеющиеся уста сомкнуться, как лица смеющихся исказились ужасом одинокой смерти. *Все это можно было предвидеть, всего этого можно было избежать еще тридцать лет назад. Не следовало забывать историю, не следовало забывать текучесть своего момента времени.*

II

Эта боль положения не может не вызывать сетований. Но какая разница между тем, как сходили с исторической сцены люди сороковых — пятидесятых годов, и тем, как сходят теперь с этой же сцены их дети! Несколько слабохарактерные, всегда изящные и задумчивые; несколько неправые, как и всякое поколение, пред вечными обязанностями человека на земле, люди сороковых — пятидесятых годов прежде всего устремили свое внимание именно на эти последние. Уже по внешним условиям они не могли стать людьми дела, но, кажется, и по внутренним склонностям они были мало к нему способны и расположены. Это были прежде всего люди рефлексии, люди углубленного, развитого чувства. Повинуясь только своему влечению, не сознавая своего исторического положения, они создали целый мир глубоко человеческих понятий и чувств. Как и всегда в течение вот уже двух веков, они обращались беспрестанно к Европе, которая стала для них вторым отечеством, часто более дорогим и духовно близким, чем своя родина; но по благородным задаткам своей души они избирали в Европе одно лучшее. И это лучшее они принесли к себе, в свою серую родину, холодную и угрюмую. Семя, посеянное ими здесь, возросло богатою нивою, которую мы и до сих пор жнем, почти не чувствуя еще ее истощения. Круг *применения* идей, правда, очень расширился, как и количество фактического содержания, которое от начала они могли бы вместить в себе; самые же идеи почти не увеличились. В этом состояла их историческая задача: в общество, в верхних слоях своих еще грубое, в средних и образованных — наивное, они внесли серьезное размышление и углуб-

ленность чувства. Но практического применения этих идей ими не было сделано — это была вторая и более легкая задача, предстоявшая их детям.

Последние с упрека отцам своим в этом недостатке и открыли свою деятельность. Привычка на всем тотчас сосредоточиваться, забывая остальное, и на этот раз не оставила готовое сойти в могилу поколение. Они забыли то, что сделали, и помнили только о том, чего не сделали. Сама история, непреодолимым движением фактов, привела их перед концом к этой мысли, самой необходимой для всякого, кто готовится оставить жизнь. Грустные и растерянные, со встревоженной совестью, один за другим сходили эти люди с исторического поприща, оставляя трепещущему жизнью поколению детей своих завет труда, которого сами они не выполнили. И дети их приступили к труду; о, конечно, и из них многие остались верны памяти отцов, и задача, на которую молча указывала история, — *с развитой душой приступить к обновлению жизни* — была ими выполнена. Лучшее, что было сделано в царствование Александра II (не по прочности, но по мотиву), было сделано людьми этого душевного настроения. Они учились, они размышляли и чувствовали, как и люди сороковых и пятидесятих годов; из них многие и теперь живы, и как светоч блистают для нас в сферах науки, литературы и, может быть, политической деятельности (о последней не знаю). Их было очень немного, хотя они сделали главное, остающееся в истории. Совсем иным путем пошла главная масса. На деле их, на писания в течение двадцати лет можно здесь набросить покров: мы все их знаем; не знаю, желательно ли составление очень *подробной* истории этих писаний и дел, и часто думается, — раз это время уж минуло, — что лучше было бы никогда не поднимать над ними покрова. Пусть мы, все видевшие, все читавшие и знавшие, живем еще с тревожными, с мучительными и раздраженными воспоминаниями, но не к чему передавать эти воспоминания и дальним поколениям. Желчи и горечи достаточно даст каждому из них и свое время. Одного не следует забывать при этом, чтобы хорошо понимать источник разницы между двумя рядом стоящими поколениями нашего общества. Говоря о людях сороковых и пятидесятих годов, мы заметили, что главное в их деятельности было обусловлено *избирательными инстинктами*, которые они принесли с собою в Европу. В этих же инстинктах и теперь состояло все дело. Европа шестидесятих и семидесятих годов, как и всегда, представляла из себя необозримую сокровищницу, увитую седым мохом и зеленеющими побегам, где всякий мог находить для себя все, что было ему нужно. Гениальное и пошлое, целебное и заразительное — все было в этом организме, самом могучем и полном, какой создавался когда-либо

в истории. Европа уже все передумала, все пережила, *все переделала на все манеры*, — и у ней одинаково можно научиться и тому, как просветлять жизнь высшим светом, и тому, как отравлять свою душу неизгладимой отравой. Все дело, продолжаем, было в инстинктах избирания. Руководясь ими, люди шестидесятых и семидесятых годов принесли из бесценной сокровищницы Запада новые семена на свою родину — и ниву, уже засеянную их отцами, занимая их след, засеяли новым принесенным семенем. Нива снова возросла, жатва созрела и была срезана, но... когда должен был начаться вечерний пир, пищи не оказалось. Люди, приведенные на этот пир с *молодыми, свежими инстинктами*, непреодолимо отвращаются от приготовленных яств. И старики, которые так много трудились на ниве в знойные и в холодные дни, руки которых устали и более неспособны к труду, видят, что свою жатву, надежду стольких лет, им остается только унести с собой в могилу. Все это страшно горько, страшно трудно, надо всем этим нельзя смеяться, и дурно делает тот, кто это делает. *Но изменить факта нельзя — и не следует.*

III

"Групповой возраст этого поколения, отказывающегося от наследства отцов своих и от солидарности с ними, должен быть от 20—30 лет или несколько более. Молодежь, принадлежащая к нему, должна была родиться между 1858—1868 гг., кончить гимназию между 1878—1886 гг., а университет между 1880 и последующими годами. Время, в которое эта молодежь слагалась умственно и вырабатывала себе жизненную программу, совпало как раз с наиболее печальным временем нашей общественной жизни. Тут были и 1 марта 1881 года, и все его дальнейшие острые последствия. Общество заметалось, спуталось; оно и прежде было слабо сознанием, а тут мысль его и совсем очутилась под спудом. Аксаков думал, что умственный промежуток, который открылся теперь перед обществом, и есть именно наиболее благоприятный момент для того, чтобы общественное сознание встало в том направлении, которое он считал единственно способным обновить все наше общественно-государственное существование. Рядом с этим так называемые западники считали необходимым продолжение реформ в более широком виде и с более расширенную деятельность интеллигенции. Но явилось и еще движение, направленное именно против интеллигенции. Это было одно из самых злополучных и несчастных самоотречений, продолжающееся и до сих пор. Интеллигенция была сделана козлом отпущения за все — и кем же? Такою же самою интеллигенцией, как она.

Та самая масса молодых сил, которая было устремилась за знанием, которую выдвинула Россия как необходимую для нее умственную силу — эта самая интеллигенция повернулась против той, которая так долго вела ее, почти во всем уже успела и стояла, по-видимому, перед минутой окончательного торжества своего"¹.

Так пишет один из самых деятельных писателей 60-х годов, лишь недавно сошедший в могилу, почти накануне ее. Да, все это было так, и годы указаны с изумительной точностью. Видно, что человек, писавший это, зорко следил за окружающею жизнью; но ход ее, но смысл и источник нового поворота для него, как человека, видевшего все лишь под одним углом, был неясен, непонятен, просто неизвестен. Он умер, проклиная новое движение, недоумеая о том, что делается. Так всегда бывает в истории, что люди, несущиеся на одной волне ее, видят только эту волну и, когда она падает, — думают, что все погибло и что история останавливается. Но это не так. Действительно, 70-е годы гимназии и 80-е университета — все впечатление этих лет и впечатление от 1 марта... Припомним же, каковы были эти впечатления; что нас в то время поразило, когда мы, стоя на пороге между гимназией и университетом, переживали эту страшную катастрофу. Нас поразила эта сухость сердца, этот взгляд на человека и отношение к нему. О, забудем, что то был Государь, и Бог с ней, с этой все политикой и политикой... Но разве это не был человек, как и мы, с таким же ощущением простой физической боли, с таким же страхом смерти, с такими же светлыми надеждами, когда был молод, и разочарованиями, когда стал стар? Этот злобный смех на такие страдания, *при которых нам всем было бы трудно*, это равнодушие и вся политика перетрусившей печати, это холодное безучастие "интеллигентного" общества, когда одному человеку так больно, весь этот цинизм какой-то не то развращенной, не то от рождения не пробуждавшейся души — нам был невыносим и отвратителен. Это было главное и самое сильное впечатление, необыкновенно яркое и *которое не мешало задумываться, потому что оно было одиноко*. Все та же и та же боль умирающего человека, и равнодушное молчание вокруг. Мы тогда учились *и все читали, все видели*, тем более что никто нас в отдельности не замечал и ничего от нас не скрывали. "Но это было фактом политики, и никакой личной ненависти при этом не было", — говорили нам. Но тогда "цель оправдывает средства"? Тогда зачем же это негодование на костры инквизиции, также жегшей людей не для удовольствия, но для водворения на земле единства веры, то есть для их устройства, для их спасения за гробом, то есть "для наибольшего счастья

¹ «Вестник Европы» 1891 года, май, стр. 246—247.

наибольшего числа людей"¹, разумея счастье по условиям своего времени, своего воспитания, своих умственных способностей, как иначе и не могут разуть счастье люди и никогда не будут его разуть. Этот недостаток универсальности в приложении принципов — было второе, что нас поразило тогда. "Мера одна для нас, которую мы требуем, а для других будет та мера, которую мы приложим к ним", — это всегдашнее требование эгоизма и несправедливости продолжало действовать и в тот момент, о котором нас хотели уверить, что он открывает собою эру изгнания из истории всякого насилия, эгоизма и несправедливости. Ясно, что не было никакой "эры"; было обыкновенное политическое волнение, с взволнованными страстями, с придуманными теориями — момент в излучистом течении истории, но вовсе не ее увенчание. Понять частный факт истории как всеобщий, принять будни за Светлый Праздник — этого мы не могли и не хотели, по простой невозможности не видеть, когда зрение дано, или не слышать, когда есть ухо. Но, повторяю, это впечатление было лишь последнее и самое яркое, необыкновенно важное в своем долгом одиночестве, не мешавшем думать. Детальные же, подготовительные впечатления они шли издали, начались уже давно.

В 70-х и в начале 80-х годов мы все учились несколько иначе, чем учатся теперь. Мы все были теоретиками и мечтателями с ранней школьной скамьи. Средняя школа для нас проносилась, как в тумане, и мы все смотрели, из разных захоластных уголков России, в ту неопределенную даль, где для нас и было только одно — сияние милого, обвеянного мечтами, нас ожидавшего университета. Собственно, только эта поэзия ожидания и согревала нас в те ранние года, и ничем учитель не мог так привязать к себе и заинтересовать в классе, как рассказав что-нибудь о годах своего университетского учения — какие бывают профессора, что они читают, *какой они имеют вид*, наконец. Мы уже во многом были серьезны, но если в чем были детьми, со всей поэзией детства, со всею нескрываемой и нас несмушавшей наивностью, так именно в этом ожидании, в этих условиях представить людей, занятых только наукой, т. е. изысканием истины, и совершенно непохожих на всех окружавших нас, которые нам наскучили, которых мы часто не любили и не уважали. Помню эти долгие, уединенные прогулки по нагорному берегу Волги, с определением по положению солнца того направления, где был университетский город и куда вот уже скоро умчит поезд и... тогда начнется совсем, совсем другое. И ничего другого

¹ Формула цели человеческой жизни в утилитарной теории, которая в 60—70-х годах была общераспространенною.

не было... Все было обманом старых литературных воспоминаний и немногих, избранных впечатлений наших школьных учителей. Университет — *universitas omnium litterarum*¹, вся эта "филология" наша была неправильна. Никак нельзя было представить, из каких требований ума вытекло это распределение наук, и в особенности как можно было преподавать науку, совершенно сбиваясь в ее определениях. Было чтение разных вещей о разных предметах, хрестоматия или сборник практически-полезных сведений, но не было науки в смысле теории, своими широкими рамами покрывающей естественные потребности естественно же развивающегося ума. Даже и идеи о возможности и необходимости такого теоретизма нигде не было. Самые предметы наук как-то странно никого не интересовали; интересовали книжки, написанные об этих предметах, репутация широкой в них начитанности. В идей огромное множество островов, ни к чему не примыкающих; в действительности просто рассказы об островах, которые давно скрылись под поверхностью воды. А мы ждали материка. О, как удивлялся бы нас Фома Аквинский, хотя между нами многие пришли сюда атеистами; или Бодэн, Гоббес, Жозеф де Местр, хотя мы вовсе не были "легитимисты". Но мы ждали *складности*; и кто бы нам ее ни дал — мы бы за ним пошли.

IV

Только немногие старые профессора и спасли в нас идеализм к науке. Это были последние эпигоны людей 40-х годов, каких мы видели, которых мы никогда не забудем. "По-моему, где профессор — там и университет", — сказал один из них, вышедший тогда почему-то в отставку (Буслаев). — Да, конечно, а не большое кирпичное здание, выстроив которое в Томске и повесив на него вывеску, еще без профессоров, без студентов, все почему-то называли: "Сибирский университет". Странные понятия об университете — о святилище наук, где они преподаются и которое изготавливается печниками на кирпичных заводах. Все извратилось и померкло в наше тусклое, искаженное время. В "*университете*" университету еще нужно зародиться; завестись чудакам-профессорам и всей студенческой братии слюбиться, сжиться, порастить мхом, кого-нибудь похоронить и справить тризну — и тогда это будет университет. Удостоиться стать им через почетный труд, через доблестную жизнь, *через историю* — можно; выстроиться университету нельзя.

¹ совокупность всех наук (*лат.*).

Тогда в журналах все писали о "кружке молодых профессоров" в нашем университете; о стариках никто не писал и не говорил — только они сами издавали один ученый труд за другим, и до этого никому не было, по-видимому, дела. Работали в пустыне. Молодые же профессора, за исключением двух-трех, все были какие-то розовые или упитанные и чрезвычайно уморительные в своих усилиях показаться "страшными". Наивны они были очень; об одном рассказывали в университете, что он все укладывал в чемодан белье, говоря, что его скоро "вышлют", конечно, выслать его было решительно не за что, и он до сих пор строчит свою бесталанную макулатуру во многих наших "передовых" изданиях. Этот профессор, охотнее возившийся с чемоданом, чем с книгами, понимая, что это не может не отражаться на лекциях, достаточно темно и достаточно ясно намекал на некоторую бедность развития при всей эрудиции у его старшего коллеги по факультету, который издавал тогда свои капитальные работы по финансовому праву. Эпиграфы к сочинениям обыкновенно брались тоже из какого-нибудь "страшного" философа. "Не плакать, не смеяться но понимать. Spinoso" — помню, стояло на брошюре из веленовой бумаги у одного профессора, хотя из трех указанных проявлений человеческой природы известно было всем, что он любил только второе. Все это было наивно, все было порой невыносимо: большее русло студентов, как и всякой большей массы, становилось все более и более тем, чего от них ожидали. — "Я не хочу пить за студентов", — сказал один старый, ныне покойный профессор, когда 12 января ему предложили поднять бокал "за молодежь". Об этом рассказывали потом, и я не забуду, с каким уважением начали смотреть на него после этого случая очень многие из студентов. Раскол уже тогда и там начинался. Как теперь помню этого безукоризненного ученого в одном диспуте по палеонтологии: красавец доцент, очень речистый, на возражение невзрачного маленького старичка, ему официально оппонировавшего, сказал скромно и торжественно: "Но, позвольте, значит, вы незнакомы с последними замечаниями знаменитого венского ученого N.N.". Старик смутился и, кажется, ничего не мог возразить. Что же, на седьмом десятке лет, быть может больной, он и вправду не успел еще, может статься, разрезать последних книжек ученых изданий и, кажется, жалел об этом, считал это стыдным для себя. "Да позвольте", — вдруг поднялся рядом со стариком сидевший профессор и сразу все покрыл своею гигантской фигурой и голосом: — "Мой уважаемый учитель" (и он обратился к смутившемуся старику, о котором я тут только узнал, что это был знаменитый ученый, сам объехавший всю Россию, еще когда доцентик не появлялся на свет), "мой уважаемый учитель говорит вовсе не

то, и вы только пугаете дело своими ссылками..." — смял растерявшегося магистранта с его венскими профессорами и в крупных, резких штрихах показал, в чем суть дела и что этой сути даже не заметил опрятно одетый диспутант, все только разрезавший новые книжки и в глаза не выдавший ни одного геологического разреза и никаких окаменелостей. Старшие профессора, обросшие седою щетиною, были невзрачны, неуклюжи, сгорблены под тяжестью трудов и лет; но в своих потрепанных вицмундирчиках они были удивительно как внутренне изящны, всегда просты, — это чувствовалось, — возвышены умом и сердцем. Совсем не то было в кружке "молодых профессоров".

V

Но печать этого не чувствовала, это старались от нас скрыть, как будто не мы записывали в аудиториях лекции и сидели на диспутах. Замечательно, что в последние годы старики, если не обязывала служба, перестали посещать диспуты — *не любопытно было*. Не очень любопытно стало даже и для нас. Я помню один диспут, *вдруг ярко вскрывший перед нами смысл текущего момента университетской науки*: предметом диссертации служили отрывки речи какого-то греческого оратора, не политического, а судебного. Впрочем, содержания отрывков магистрант не касался. В разных *Venezianum B*, *Parisiensis A* были разночтения, и среди них попадались очевидные ошибки. Они могли быть просто ошибками переписчика. Начинаящий ученый задавался вопросом, не были ли они ошибками не зрительными, а слуховыми: общий оригинал мог читаться одним писцом, а остальные записывали за ним и, не расслышав слова, могли ошибаться в его начертании. Никогда не забуду, как перед диспутом магистрант в пространной речи объяснял об употребленном им при исследовании "индуктивном методе". Начался диспут; оказалось, что, хорошо выдержав метод, магистрант не выдержал хорошо корректуры и, где нужно было сослаться на *Venezianum B*, он сослался на *Venezianum A* и т. д. Произошла путаница, и единственная возможная цель диссертации не была достигнута. Несколько почетных гостей дремало на диспуте; студентов было мало за специальностью предмета. Зажгли уже огни, когда кончился диспут. Мы все вышли из аудитории с чувством стыда. "Кое-что о ничем" — так можно было бы озаглавить ученый груд по его внутреннему значению, и, однако, имя ученого, положение профессора было приобретено. Мне почему-то вспомнился при этом случай, как однажды молодой человек, готовившийся показывать перед публикой, как из одной курицы вдруг делается десять и яблоки невидимо перелетают из его рукава в карманы

зрителей, предварительно, хотя по возвышению, объяснял нам, смеясь: "Конечно, господа, теперь наукою доказано, что в природе не существует чудес, и все, что вы увидите, основано просто на законах физики и оптики". И я вспоминал об "индуктивном методе", и уважении к нему начинающего филолога, и весь тот диспут в большой словесной аудитории. Не то же, конечно, но в этом роде. Все стало как-то очень обыкновенно, слишком просто; все стало ассимилироваться, терять очертания и внешние разграничения.

Помню, как однажды, по окончании лекции, сойдя на крыльцо, служившее курильной двух смежных факультетов, я увидел знакомого мне студента в чрезвычайном волнении. Это был один из серьезнейших молодых людей, каких мне удавалось знать в то время, и чрезвычайно нравственный. Будучи очень беден, он содержал (еще с гимназических годов) при себе старуху мать, которую перевез с собою и в университетский город. Несмотря на трудность положения, он никогда не обращался за стипендией и перебивался уроками. Поздоровавшись, я спросил его, что с ним? Он рассказал мне, как, толкуя на лекции какой-то старинный памятник, молодой профессор с особенною любовью стал останавливаться на неприличных выражениях о нем (в старину, по простоте, не пропускаемых) и все повторял одно название, посмеиваясь и посматривая весело на аудиторию. Об этом профессоре я уже ранее и от многих слышал как об ужасающей бездарности, и он, очевидно, решил утилизировать неприличные слова, чтобы несколько оживить свои чтения. "Это нахальство, рассказывал мне товарищ, — и, главное, видимая уверенность в нашем сочувствии ему до того меня возмутили, что, когда он вышел из аудитории, я, затворив дверь, предложил тотчас пойти всем курсом к ректору и попросить, чтобы от нас убрали этого профессора (чтоб он больше не читал лекций, соглашаясь взять на себя выражение ходатайства" (что, конечно, было очень рискованно). Но студенты заколебались и, по идейной инерции, решили бросить все это, тем более что еще неизвестно, кого дадут взамен его, а не дадут, то и т.д.

В другой раз, на том же факультете, очень многолюдном и очень шумном, с лестницы спускался молоденький профессор и за ним толпы шумно разговаривающих студентов. Совсем в углу, на повороте лестницы, я увидел товарища своего по гимназии, Б., с лицом, залитым краской, и как-то ужасно смущенным. Думая, что что-нибудь произошло на лекции, я обратился к нескольким студентам с вопросом, но они, махнув рукой и продолжая разговаривать, прошли мимо. Увидав Б., я обратился к нему, и он, все запинаясь, не сразу начал: "Черт знает что такое! Этот NN, — он указал на пухленькую фигурку совсем юного лектора, — все пыжится изобразить из себя какого-то красного. Сегод-

ня лекция была о республике Платона — когда уже давно дали звонок, он вдруг вскакивает и, подняв руку, своим тоненьким пискливым голоском кричит: "Господа! Государство, в котором *ultima ratio*¹ есть штык и нагайка, такое государство, господа, гибнет" — и бегом почти выбежал из аудитории. Мне стало до того стыдно — и не знаю чего: ведь не я сказал, и, кажется, черт бы с ним, но лучше бы провалиться, чем видеть его в эту минуту". Все дело в том, что к кому идет. Все эти Бруты и Гармодии с обликом молодой купчихи были нам эстетически противны. Впрочем, на нашем факультете, по его крайне мирному характеру, подобных выходов не было, и он, вместе с физико-математическим, был самым серьезным в университете.

VI

Итак, что касается до идеализма в науке, то мы видели только закат его последние прощальные лучи, которые бросала нашему времени уходящая в могилу старость. Лучи один за другим тухли, и наступала сырая холодная темь, сквозь которую можно было рассмотреть только какие-то скверно-вызывающие улыбки и куда-то зовущие объятия. Мы их оттолкнули: этого цинизма к науке в ее святилище мы не могли вынести. И потом за пределами университета был все тот же цинизм умственный. Строгой, печальной в своих выводах науки мы не находили и в текущих книгах. Нужно было обращаться к кожаным переплетам, к очень старым журналам, чтобы наконец хоть где-нибудь найти серьезную заинтересованность предметами, которые и нас интересовали, и серьезную речь о них. Приходилось следить и за текущими научными спорами². Истине засыпались глаза песком, ее пронизательного взгляда больше не выносили. Присмотревшись в университете, мы были уже несколько опытны в различении всего этого и хотя обычно молчали, но впечатления в нас оставались. Так далее и далее расходились мы со временем, которое нас вскормило и воспитывало.

Один из видных публицистов старого лагеря горько сетует на нас. Он говорит о "пренебрежительном, высокомерном, вообще отрицательном отношении *детей* к лучшим заветам отцов". Наш отказ от "наследия 60-х годов" он называет "ничем не оправдываемым" (статья г. Н. Михайловского: "Литература и жизнь"; Русская мысль, 1891 г., июнь, стр. 144). Положа руку на сердце, может ли он сказать, что мы могли быть другими, вынеся с ранних годов все эти впечатления? И сам он,

¹ последний довод (*лат.*).

² Напр., спор о дарвинизме, долго тянувшийся в последние годы.

ясно, как мы, сознавая унижение науки ее служителями, не попытался ли бы вырвать у них по земле волокущееся знамя и понести его хоть как-нибудь самому? Не встал ли бы он, *оставаясь таким же и только родясь в наше время* (то есть не будучи сам инициатором многих идей, естественно не могущим отнестись к ним "со стороны"), в ряды самых горячих борцов с поколением отживающим, в котором стоит теперь? Все мы, поколение за поколением, в самих себе не имеем значения: наше значение обуславливается лишь тем, как относимся мы к вечным идеалам, подле нас стоящим, которые с отдельными поколениями не исчезают. Сохраняет поколение верность им — и значение его не пропадает; изменяет оно этим идеалам — и его значение тотчас меркнет. В сфере умственной любить одну истину — это не есть ли идеал? В сфере нравственной — относиться ко всем равно, ни в каком человеке не переставать видеть человека — не есть ли для нас долг? И если мы видели, как опять и опять человек рассматривается только как средство, если мы с отвращением заметили, как таким же средством становится и сама истина, могли ли мы не отворотиться от поколения, которое все это сделало?

В. Розанов
